Милый друг

Автор:
Ги Мопассан

Милый друг

Ги де Мопассан

Ги де Мопассана нередко называют мастером эротической прозы. Но роман «Милый друг» (1885) выходит за рамки этого жанра. История карьеры заурядного соблазнителя и прожигателя жизни Жоржа Дюруа, развивающаяся в духе авантюрного романа, становится символическим отражением духовного обнищания героя и общества.

Ги де Мопассан

Милый друг

© Перевод. Н. М. Любимов, наследники, 2019

© Агентство ФТМ, Лтд., 2019

* * *

Часть первая

I

Джорж Дюруа получил у кассирши ресторана сдачу с пяти франков и направился к выходу.

Статный от природы и к тому же сохранивший унтер-офицерскую выправку, он приосанился и, привычным молодцеватым жестом закрутив усы, охватил запоздавших посетителей тем зорким взглядом, каким красавец мужчина, точно ястреб, высматривает добычу.

Женщины подняли на него глаза; это были три молоденькие работницы, учительница музыки, средних лет, небрежно причесанная, неряшливо одетая, в запыленной шляпке, в криво сидевшем на ней платье, и две мещанки с мужьями – завсегдатаи этой дешевой харчевни.

Он постоял с минуту на тротуаре, размышляя о том, как быть дальше. Сегодня двадцать восьмое июня; до первого числа у него остается всего-навсего три франка сорок сантимов. Это значит: два обеда, но никаких завтраков, или два завтрака, но никаких обедов, – на выбор. Так как завтрак стоит франк десять сантимов, а обед – полтора франка, то, отказавшись от обедов, он выгадает франк двадцать сантимов; стало быть, рассчитал он, можно будет еще два раза поужинать хлебом с колбасой и выпить две кружки пива на бульваре. А это его самый большой расход и самое большое удовольствие, которое он позволяет себе по вечерам. Он двинулся по улице Нотр-Дам-де-Лорет.

Шагал он так же, как в те времена, когда на нем был гусарский мундир: выпятив грудь и слегка расставляя ноги, будто только что слез с коня. Он бесцеремонно протискивался в толпе, заполонившей улицу: задевал прохожих плечом, толкался, никому не уступал дорогу. Сдвинув поношенный цилиндр чуть-чуть набок и постукивая каблуками, он шел с высокомерным видом бравого солдата, очутившегося среди штатских, который презирает решительно все: и людей и дома – весь город.

Даже в этом дешевом, купленном за шестьдесят франков костюме ему удавалось сохранять известную элегантность – пошловатую, бьющую в глаза, но все же элегантность. Высокий рост, хорошая фигура, вьющиеся русые с рыжеватым отливом волосы, расчесанные на прямой пробор, закрученные усы, словно пенившиеся на губе, светло-голубые глаза с буравчиками зрачков – все в

нем напоминало соблазнителя из бульварного романа.

Был один из тех летних вечеров, когда в Париже не хватает воздуха. Город, жаркий, как парильня, казалось, задыхался и истекал потом. Гранитные пасти сточных труб распространяли зловоние; из подвальных этажей, из низких кухонных окон несся отвратительный запах помоев и прокисшего соуса.

Швейцары, сняв пиджаки, верхом на соломенных стульях покуривали у ворот; мимо них, со шляпами в руках, еле передвигая ноги, брели прохожие.

Дойдя до бульвара, Жорж Дюруа снова остановился в нерешительности. Его тянуло на Елисейские поля, в Булонский лес – подышать среди деревьев свежим воздухом. Но он испытывал и другое желание – желание встречи с женщиной.

Как она произойдет? Этого он не знал, но он ждал ее вот уже три месяца, каждый день, каждый вечер. Впрочем, благодаря счастливой наружности и галантному обхождению ему то там, то здесь случалось урвать немножко любви, но он надеялся на нечто большее и лучшее.

В карманах у него было пусто, а кровь между тем играла, и он распалялся от каждого прикосновения уличных женщин, шептавших на углах: «Пойдем со мной, красавчик!» – но не смел за ними идти, так как заплатить ему было нечем; притом он все ждал чего-то иного, иных, менее доступных поцелуев.

И все же он любил посещать места, где кишат девицы легкого поведения, – их балы, рестораны, улицы; любил толкаться среди них, заговаривать с ними, обращаться к ним на «ты», дышать резким запахом их духов, ощущать их близость. Как-никак это тоже женщины, и женщины, созданные для любви. Он отнюдь не питал к ним отвращения, свойственного семьянину.

Он пошел по направлению к церкви Мадлен и растворился в изнемогавшем от жары людском потоке. Большие, захватившие часть тротуара, переполненные кафе выставляли своих посетителей напоказ, заливая их ослепительно ярким светом витрин. Перед посетителями на четырехугольных и круглых столиках стояли бокалы с напитками – красными, желтыми, зелеными, коричневыми, всевозможных оттенков, а в графинах сверкали огромные прозрачные цилиндрические куски льда, охлаждавшие прекрасную чистую воду.

Дюруа замедлил шаг, – у него пересохло в горле.

Жгучая жажда, жажда, какую испытывают лишь в душный летний вечер, томила его, и он вызывал в себе восхитительное ощущение холодного пива, льющегося в гортань. Но если выпить сегодня хотя бы две кружки, то прощай скудный завтрашний ужин, а он слишком хорошо знал часы голода, неизбежно связанные с концом месяца.

«Потерплю до десяти, а там выпью кружку в Американском кафе, – решил он. – А, черт, как, однако ж, хочется пить!» Он смотрел на всех этих людей, сидевших за столиками и утолявших жажду, – на всех этих людей, которые могли пить сколько угодно. Он проходил мимо кафе, окидывая посетителей насмешливым и дерзким взглядом и определяя на глаз – по выражению лица, по одежде, – сколько у каждого из них должно быть с собой денег. И в нем поднималась злоба на этих расположившихся со всеми удобствами господ. Поройся у них в карманах, – найдешь и золотые, и серебряные, и медные монеты. В среднем у каждого должно быть не меньше двух луидоров; в любом кафе сто человек, во всяком случае, наберется; два луидора помножить на сто – это четыре тысячи франков! «Сволочь!» – проворчал он, все так же изящно покачивая станом. Попадись бывшему унтер-офицеру кто-нибудь из них ночью в темном переулке, – честное слово, он без зазрения совести свернул бы ему шею, как это он во время маневров проделывал с деревенскими курами.

Дюруа невольно пришли на память два года, которые он провел в Африке, в захолустных крепостях на юге Алжира, где ему часто удавалось обирать до нитки арабов. Веселая и жестокая улыбка скользнула по его губам при воспоминании об одной проделке: трем арабам из племени улед-алан она стоила жизни, зато он и его товарищи раздобыли двадцать кур, двух баранов, золото, и при всем том целых полгода им было над чем смеяться.

Виновных не нашли, да их и не так уж усердно искали, – ведь араба все еще принято считать чем-то вроде законной добычи солдата.

В Париже – не то. Здесь уж не пограбишь в свое удовольствие – с саблей на боку и с револьвером в руке, на свободе, вдали от гражданского правосудия. Дюруа почувствовал, как все инстинкты унтер-офицера, развратившегося в покоренной стране, разом заговорили в нем. Право, это были счастливые годы. Как жаль, что он не остался в пустыне! Но он полагал, что здесь ему будет лучше. А вышло… Вышло черт знает что!

Точно желая убедиться, как сухо у него во рту, он, слегка прищелкнув, провел языком по небу.

Толпа скользила вокруг него, истомленная, вялая, а он, задевая встречных плечом и насвистывая веселые песенки, думал все о том же: «Скоты! И ведь у каждого из этих болванов водятся деньги!» Мужчины, которых он толкал, огрызались, женщины бросали ему вслед: «Нахал!»

Он прошел мимо Водевиля и остановился против Американского кафе, подумывая, не выпить ли ему пива, – до того мучила его жажда. Но прежде чем на это решиться, он взглянул на уличные часы с освещенным циферблатом. Было четверть десятого. Он знал себя: как только перед ним поставят кружку с пивом, он мигом осушит ее до дна. А что он будет делать до одиннадцати?

«Пройдусь до церкви Мадлен, – сказал он себе, – и не спеша двинусь обратно».

На углу площади Оперы он столкнулся с толстым молодым человеком, которого он где-то как будто видел.

Он пошел за ним, роясь в своих воспоминаниях и повторяя вполголоса:

– Черт возьми, где же я встречался с этим субъектом?

Тщетно напрягал он мысль, как вдруг память его сотворила чудо, и этот же самый человек предстал перед ним менее толстым, более юным, одетым в гусарский мундир.

– Да ведь это Форестье! – вскрикнул Дюруа и, догнав его, хлопнул по плечу.

Тот обернулся, посмотрел на него и спросил?

– Что вам угодно, сударь?

Дюруа засмеялся:

– Не узнаешь?

– Нет.

– Жорж Дюруа, из шестого гусарского.

Форестье протянул ему обе руки:

– А, дружище! Как поживаешь?

– Превосходно, а ты?

– Я, брат, так себе. Вообрази, грудь у меня стала точно из папье-маше, и кашляю я шесть месяцев в году, – все это последствия бронхита, который я схватил четыре года назад в Буживале, как только вернулся во Францию.

– Вот оно что! А вид у тебя здоровый.

Форестье, взяв старого товарища под руку, заговорил о своей болезни, о диагнозах и советах врачей, о том, как трудно ему, такому занятому, следовать их указаниям. Ему предписано провести зиму на юге, но разве это возможно? Он женат, он журналист, он занимает прекрасное положение.

– Я заведую отделом политики во «Французской жизни», помещаю в «Спасении» отчеты о заседаниях сената и время от времени даю литературную хронику в «Планету». Как видишь, я стал на ноги.

Дюруа с удивлением смотрел на него. Форестье сильно изменился, стал вполне зрелым человеком. Походка, манера держаться, костюм, брюшко – все обличало в нем преуспевающего, самоуверенного господина, любящего плотно покушать. А прежде это был худой, тонкий и стройный юноша, ветрогон, забияка, непоседа, горлан. За три года Париж сделал из него совсем другого человека – степенного, тучного, с сединой на висках, хотя ему было не больше двадцати семи лет.

– Ты куда направляешься? – спросил Форестье.

– Никуда, – ответил Дюруа, – просто гуляю перед сном.

– Что ж, может, проводишь меня в редакцию «Французской жизни»? Мне только просмотреть корректуру, а потом мы где-нибудь выпьем по кружке пива.

– Идет.

И с той непринужденностью, которая так легко дается бывшим одноклассникам и однополчанам, они пошли под руку.

– Что поделываешь? – спросил Форестье.

Дюруа пожал плечами:

– По правде сказать, околеваю с голоду. Когда кончился срок моей службы, я приехал сюда, чтобы… чтобы сделать карьеру, – вернее, мне просто захотелось пожить в Париже. Но вот уж полгода, как я служу в управлении Северной железной дороги и получаю всего-навсего полторы тысячи франков в год.

– Не густо, черт возьми, – промычал Форестье.

– Еще бы! Но скажи на милость, как мне выбиться? Я одинок, никого не знаю, обратиться не к кому. Дело не в нежелании, а в отсутствии возможностей.

Приятель, смерив его с ног до головы оценивающим взглядом опытного человека, наставительно заговорил:

– Видишь ли, дитя мое, здесь все зависит от апломба. Человеку мало-мальски сообразительному легче стать министром, чем столоначальником. Надо уметь производить впечатление, а вовсе не просить. Но неужели же, черт возьми, тебе не подвернулось ничего более подходящего?

– Я обил все пороги, но без толку, – возразил Дюруа. – Впрочем, сейчас у меня есть кое-что на примете: мне предлагают место берейтора в манеже Пелерена. Там я, на худой конец, заработаю три тысячи франков.

– Не делай этой глупости, – прервал его Форестье, – даже если тебе посулят десять тысяч франков. Ты сразу отрежешь себе все пути. У себя в канцелярии ты, по крайней мере, не на виду, тебя никто не знает, и, при известной

настойчивости, со временем ты выберешься оттуда и сделаешь карьеру. Но берейтор – это конец. Это все равно что поступить метрдотелем в ресторан, где обедает «весь Париж». Раз ты давал уроки верховой езды светским людям или их сыновьям, то они уже не могут смотреть на тебя, как на ровню.

Он замолчал и, подумав несколько секунд, спросил:

– У тебя есть диплом бакалавра?

– Нет, я дважды срезался.

– Это не беда при том условии, если ты все-таки окончил среднее учебное заведение. Когда при тебе говорят о Цицероне или о Тиберии, ты примерно представляешь себе, о ком идет речь?

– Да, примерно.

– Ну и довольно, больше о них никто ничего не знает, кроме десятка-другого остолопов, которые, кстати сказать, умнее от этого не станут. Сойти за человека сведущего совсем нетрудно, поверь. Все дело в том, чтобы тебя не уличили в явном невежестве. Надо лавировать, избегать затруднительных положений, обходить препятствия и при помощи энциклопедического словаря сажать в калошу других. Все люди – круглые невежды и глупы как бревна.

Форестье рассуждал с беззлобной иронией человека, знающего жизнь, и улыбался, глядя на встречных. Но вдруг закашлялся, остановился и, когда приступ прошел, упавшим голосом проговорил:

– Вот привязался проклятый бронхит! А ведь лето в разгаре. Нет уж, зимой я непременно поеду лечиться в Ментону. Какого черта, в самом деле, здоровье дороже всего!

Они остановились на бульваре Пуасоньер, возле большой стеклянной двери, на внутренней стороне которой был наклеен развернутый номер газеты. Какие-то трое стояли и читали ее.

Над дверью, точно воззвание, приковывала к себе взгляд ослепительная надпись, выведенная огромными огненными буквами, составленными из газовых рожков: «Французская жизнь». В полосе яркого света, падавшего от этих пламенеющих слов, внезапно возникали фигуры прохожих, явственно различимые, четкие, как днем, и тотчас же снова тонули во мраке.

Форестье толкнул дверь.

– Сюда, – сказал он.

Дюруа вошел, поднялся по роскошной и грязной лестнице, которую хорошо было видно с улицы, и, пройдя через переднюю, где двое рассыльных поклонились его приятелю, очутился в пыльной и обшарпанной приемной, – стены ее были обиты выцветшим желтовато-зеленым трипом, усеянным пятнами, а кое-где словно изъеденным мышами.

– Присядь, – сказал Форестье, – я вернусь через пять минут.

И скрылся за одной из трех дверей, выходивших в приемную.

Странный, особенный, непередаваемый запах, запах редакции, стоял здесь. Дюруа, скорей изумленный, чем оробевший, не шевелился. Время от времени какие-то люди пробегали мимо него из одной двери в другую, – так быстро, что он не успевал разглядеть их.

С деловым видом сновали совсем еще зеленые юнцы, держа в руке лист бумаги, колыхавшийся на ветру, который они поднимали своей беготней. Наборщики, у которых из-под халата, запачканного типографской краской, виднелись суконные брюки, точь-в-точь такие же, как у светских людей, и чистый белый воротничок, бережно несли кипы оттисков – свеженабранные, еще сырые гранки. Порой входил щуплый человечек, одетый чересчур франтовски, в сюртуке, чересчур узком в талии, в брюках, чересчур обтягивавших ногу, в ботинках с чересчур узким носком, – какой-нибудь репортер, доставлявший вечернюю светскую хронику.

Приходили и другие люди, надутые, важные, все в одинаковых цилиндрах с плоскими полями, – видимо, они считали, что один этот фасон шляпы уже отличает их от простых смертных.

Наконец появился Форестье под руку с самодовольным и развязным господином средних лет, в черном фраке и белом галстуке, очень смуглым, высоким, худым, с торчащими вверх кончиками усов.

– Всего наилучшего, уважаемый мэтр, – сказал Форестье.

Господин пожал ему руку.

– До свиданья, дорогой мой.

Он сунул тросточку под мышку и, посвистывая, стал спускаться по лестнице.

– Кто это? – спросил Дюруа.

– Жак Риваль, – знаешь, этот известный фельетонист и дуэлист? Он просматривал корректуру. Гарен, Монтель и он – лучшие парижские журналисты: самые остроумные и злободневные фельетоны принадлежат им. Риваль дает нам два фельетона в неделю и получает тридцать тысяч франков в год.

Они вышли. Навстречу им, отдуваясь, поднимался по лестнице небольшого роста человек, грузный, лохматый и неопрятный.

Форестье низко поклонился ему.

– Норбер де Варен, поэт, автор «Угасших светил», тоже в большой цене, – пояснил он. – Ему платят триста франков за рассказ, а в самом длинном его рассказе не будет и двухсот строк. Слушай, зайдем в Неаполитанское кафе, я умираю от жажды.

Как только они заняли места за столиком, Форестье крикнул: «Две кружки пива!» – и залпом осушил свою; Дюруа между тем отхлебывал понемножку, наслаждаясь, смакуя, словно это был редкостный, драгоценный напиток.

Его приятель молчал и, казалось, думал о чем-то, потом неожиданно спросил:

– Почему бы тебе не заняться журналистикой?

Дюруа бросил на него недоумевающий взгляд.

– Но… дело в том, что… я никогда ничего не писал.

– Ну так попробуй, начни! Ты мог бы мне пригодиться: добывал бы для меня информацию, интервьюировал должностных лиц, ходил бы в присутственные места. На первых порах будешь получать двести пятьдесят франков, не считая разъездных. Хочешь, я поговорю с издателем?

– Конечно, хочу.

– Тогда вот что: приходи ко мне завтра обедать. Соберется у меня человек пять-шесть, не больше: мой патрон – господин Вальтер с супругой, Жак Риваль и Норбер де Варен, которых ты только что видел, и приятельница моей жены. Придешь?

Дюруа колебался, весь красный, смущенный.

– Дело в том, что… у меня нет подходящего костюма, – запинаясь, проговорил он.

Форестье опешил.

– У тебя нет фрака? Вот тебе раз! А без этого, брат, не обойдешься. В Париже, к твоему сведению, лучше не иметь кровати, чем фрака.

Он порылся в жилетном кармане, вынул кучку золотых и, взяв два луидора, положил их перед своим старым товарищем.

– Отдашь, когда сможешь, – сказал он дружеским, естественным тоном. – Возьми костюм напрокат или дай задаток и купи в рассрочку, это уж дело твое, но только непременно приходи ко мне обедать: завтра, в половине восьмого, улица Фонтэн, семнадцать.

Дюруа был тронут.

– Ты так любезен! – пряча деньги, пробормотал он. – Большое тебе спасибо! Можешь быть уверен, что я не забуду…

– Довольно, довольно! – прервал Форестье. – Давай еще по кружке, а? Гарсон, две кружки! – крикнул он.

Когда пиво было выпито, журналист предложил:

– Ну как, погуляем еще часок?

– Конечно, погуляем.

И они пошли в сторону Мадлен.

– Что бы нам такое придумать? – сказал Форестье. – Уверяют, будто в Париже фланер всегда найдет, чем себя занять, но это не так. Иной раз вечером и рад бы куда-нибудь пойти, да не знаешь куда. В Булонском лесу приятно кататься с женщиной, а женщины не всегда под рукой. Кафешантаны способны развлечь моего аптекаря и его супругу, но не меня. Что же остается? Ничего. В Париже надо бы устроить летний сад, вроде парка Монсо, который был бы открыт всю ночь и где можно было бы выпить под деревьями чего-нибудь прохладительного и послушать хорошую музыку. Это должно быть не увеселительное место, а просто место для гулянья. Плату за вход я бы назначил высокую, чтобы привлечь красивых женщин. Хочешь – гуляй по дорожкам, усыпанным песком, освещенным электрическими фонарями, а то сиди и слушай музыку, издали или вблизи. Нечто подобное было когда-то у Мюзара, но только с кабацким душком: слишком много танцевальной музыки, мало простора, мало тени, мало древесной сени. Необходим очень красивый, очень большой сад. Это было бы чудесно. Итак, куда бы ты хотел?

Дюруа не знал, что ответить. Наконец он надумал:

– Мне еще ни разу не пришлось побывать в Фоли-Бержер. Я охотно пошел бы туда.

– Что, в Фоли-Бержер? – воскликнул его спутник. – Да мы там изжаримся, как на сковородке. Впрочем, как хочешь, – это, во всяком случае, забавно.

И они повернули обратно, с тем чтобы выйти на улицу Фобур-Монмартр.

Блиставший огнями фасад увеселительного заведения бросал снопы света на четыре прилегающие к нему улицы. Вереница фиакров дожидалась разъезда.

Форестье направился прямо к входной двери, но Дюруа остановил его:

– Мы забыли купить билеты.

– Со мной не платят, – с важным видом проговорил Форестье.

Три контролера поклонились ему. С тем из них, который стоял в середине, журналист поздоровался за руку.

– Есть хорошая ложа? – спросил он.

– Конечно, есть, господин Форестье.

Форестье взял протянутый ему билетик, толкнул обитую кожей дверь, и приятели очутились в зале.

Табачный дым тончайшей пеленою мглы застилал сцену и противоположную сторону зала. Поднимаясь чуть заметными белесоватыми струйками, этот легкий туман, порожденный бесчисленным множеством папирос и сигар, постепенно сгущался вверху, образуя под куполом, вокруг люстры и над битком набитым вторым ярусом, подобие неба, подернутого облаками.

В просторном коридоре, вливавшемся в полукруглый проход, что огибал ряды и ложи партера и где разряженные кокотки шныряли в темной толпе мужчин, перед одной из трех стоек, за которыми восседали три накрашенные и потрепанные продавщицы любви и напитков, группа женщин подстерегала добычу.

В высоких зеркалах отражались спины продавщиц и лица входящих зрителей.

Форестье, расталкивая толпу, быстро продвигался вперед с видом человека, который имеет на это право.

Он подошел к капельдинерше.

– Где семнадцатая ложа?

– Здесь, сударь.

И она заперла обоих в деревянном открытом сверху и обитом красной материей ящике, внутри которого помещалось четыре красных стула, поставленных так близко один к другому, что между ними почти невозможно было пролезть. Друзья уселись. Справа и слева от них, изгибаясь подковой, тянулся до самой сцены длинный ряд точно таких же клеток, где тоже сидели люди, которые были видны только до пояса.

На сцене трое молодых людей в трико – высокий, среднего роста и низенький – по очереди проделывали на трапеции акробатические номера.

Сперва быстрыми мелкими шажками, улыбаясь и посылая публике воздушные поцелуи, выходил вперед высокий.

Под трико обрисовывались мускулы его рук и ног. Чтобы не слишком заметен был его толстый живот, он выпячивал грудь. Ровный пробор как раз посередине головы придавал ему сходство с парикмахером. Грациозным прыжком он взлетал на трапецию и, повиснув на руках, вертелся колесом. А то вдруг, выпрямившись и вытянув руки, принимал горизонтальное положение и, держась за перекладину пальцами, в которых была теперь сосредоточена вся его сила, на несколько секунд застывал в воздухе.

Затем спрыгивал на пол, снова улыбался, кланялся рукоплескавшему партеру и, играя упругими икрами, отходил к кулисам.

За ним второй, поменьше ростом, но зато более коренастый, проделывал те же номера и, наконец, третий – и все это при возраставшем одобрении публики.

Но Дюруа отнюдь не был увлечен зрелищем; повернув голову, он не отрывал глаз от широкого прохода, где толпились мужчины и проститутки.

– Обрати внимание на первые ряды партера, – сказал Форестье, – одни добродушные, глупые лица мещан, которые вместе с женами и детьми приходят сюда поглазеть. В ложах – гуляки, кое-кто из художников, несколько второсортных кокоток, а сзади нас – самая забавная смесь, какую можно встретить в Париже. Кто эти мужчины? Приглядись к ним. Кого-кого тут только нет, – люди всякого чина и звания, но преобладает мелюзга. Вот служащие – банковские, министерские, по торговой части, – репортеры, сутенеры, офицеры в штатском, хлыщи во фраках, – эти пообедали в кабачке, успели побывать в Опере и прямо отсюда отправятся к Итальянцам, – и целая тьма подозрительных личностей. А женщины все одного пошиба: ужинают в Американском кафе и сами извещают своих постоянных клиентов, когда они свободны. Красная цена им два луидора, но они подкарауливают иностранцев, чтобы содрать с них пять. Таскаются они сюда уже лет шесть, – их можно видеть здесь каждый вечер, круглый год, на тех же самых местах, за исключением того времени, когда они находятся на излечении в Сен-Лазаре или в Лурсине.

Дюруа не слушал. Одна из таких женщин, прислонившись к их ложе, уставилась на него. Это была полная набеленная брюнетка с черными подведенными глазами, смотревшими из-под огромных нарисованных бровей. Пышная ее грудь натягивала черный шелк платья; накрашенные губы, похожие на кровоточащую рану, придавали ей что-то звериное, жгучее, неестественное и вместе с тем возбуждавшее желание.

Кивком головы она подозвала проходившую мимо подругу, рыжеватую блондинку, такую же дебелую, как она, и умышленно громко, чтобы ее услышали в ложе, сказала:

– Гляди-ка, правда, красивый малый? Если он захочет меня за десять луидоров, я не откажусь.

Форестье повернулся лицом к Дюруа и, улыбаясь, хлопнул его по колену:

– Это она о тебе. Ты пользуешься успехом, мой милый. Поздравляю.

Бывший унтер-офицер покраснел; пальцы его невольно потянулись к жилетному карману, в котором лежали две золотые монеты.

Занавес опустился. Оркестр заиграл вальс.

– Не пройтись ли нам? – предложил Дюруа.

– Как хочешь.

Не успели они выйти, как их подхватила волна гуляющих. Их жали, толкали, давили, швыряли из стороны в сторону, а перед глазами у них мелькал целый рой шляп. Женщины ходили парами; скользя меж локтей, спин, грудей, они свободно двигались в толпе мужчин, – видно было, что здесь для них раздолье, что они в своей стихии, что в этом потоке самцов они чувствуют себя, как рыбы в воде.

Дюруа в полном восторге плыл по течению, жадно втягивая в себя воздух, отравленный никотином, насыщенный испарениями человеческих тел, пропитанный духами продажных женщин. Но Форестье потел, задыхался, кашлял.

– Пойдем в сад, – сказал он.

Повернув налево, они увидели нечто вроде зимнего сада, освежаемого двумя большими аляповатыми фонтанами. За цинковыми столиками, под тисами и туями в кадках, мужчины и женщины пили прохладительное.

– Еще по кружке? – предложил Форестье.

– С удовольствием.

Они сели и принялись рассматривать публику.

Время от времени к ним подходила какая-нибудь девица и, улыбаясь заученной улыбкой, спрашивала: «Чем угостите, сударь?» Форестье отвечал: «Стаканом воды из фонтана», – и, проворчав: «Свинья!» – она удалялась.

Но вот появилась полная брюнетка, та самая, которая стояла, прислонившись к их ложе; вызывающе глядя по сторонам, она шла под руку с полной блондинкой. Это были бесспорно красивые женщины, как бы нарочно подобранные одна к другой.

При виде Дюруа она улыбнулась так, словно они уже успели взглядом сказать друг другу нечто интимное, понятное им одним. Взяв стул, она преспокойно уселась против него, усадила блондинку и звонким голосом крикнула:

– Гарсон, два гренадина!

– Однако ты не из робких, – с удивлением заметил Форестье.

– Твой приятель вскружил мне голову, – сказала она. – Честное слово, он душка. Боюсь, как бы мне из-за него не наделать глупостей!

Дюруа от смущения не нашелся, что сказать. Он крутил свой пушистый ус и глупо ухмылялся. Гарсон принес воду с сиропом. Женщины выпили ее залпом и поднялись. Брюнетка, приветливо кивнув Дюруа, слегка ударила его веером по плечу.

– Спасибо, котик, – сказала она. – Жаль только, что из тебя слова не вытянешь.

И, покачивая бедрами, они пошли к выходу.

Форестье засмеялся.

– Знаешь, что я тебе скажу, друг мой? Ведь ты и правда имеешь успех у женщин. Надо этим пользоваться. С этим можно далеко пойти.

После некоторого молчания он, как бы размышляя вслух, задумчиво проговорил:

– Женщины-то чаще всего и выводят нас в люди.

Дюруа молча улыбался.

– Ты остаешься? – спросил Форестье. – А я ухожу, с меня довольно.

– Да, я немного побуду. Еще рано, – пробормотал Дюруа.

Форестье встал.

– В таком случае прощай. До завтра. Не забыл? Улица Фонтэн, семнадцать, в половине восьмого.

– Хорошо. До завтра. Благодарю.

Они пожали друг другу руку, и журналист ушел.

Как только он скрылся из виду, Дюруа почувствовал себя свободнее. Еще раз с удовлетворением нащупав в кармане золотые монеты, он поднялся и стал пробираться в толпе, шаря по ней глазами.

Вскоре он увидел обеих женщин, блондинку и брюнетку, с видом нищих гордячек бродивших в толчее, среди мужчин.

Он направился к ним, но, подойдя вплотную, вдруг оробел.

– Ну что, развязался у тебя язык? – спросила брюнетка.

– Канальство! – пробормотал Дюруа; больше он ничего не мог выговорить.

Они стояли все трое на самой дороге, и вокруг них уже образовался водоворот.

– Пойдем ко мне? – неожиданно предложила брюнетка.

Трепеща от желания, он грубо ответил ей:

– Да, но у меня только один луидор.

На лице женщины мелькнула равнодушная улыбка.

– Ничего, – сказала она и, завладев им, как своей собственностью, взяла его под руку.

Идя с нею, Дюруа думал о том, что на остальные двадцать франков он, конечно, достанет себе фрак для завтрашнего обеда.

II

– Где живет господин Форестье?

– Четвертый этаж, налево.

В любезном тоне швейцара слышалось уважение к жильцу. Жорж Дюруа стал подниматься по лестнице.

Он был слегка смущен, взволнован, чувствовал какую-то неловкость. Фрак он надел первый раз в жизни, да и весь костюм в целом внушал ему опасения.

Он находил изъяны во всем, начиная с ботинок, не лакированных, хотя довольно изящных, – Дюруа любил хорошую обувь, – и кончая сорочкой, купленной утром в Лувре за четыре с половиной франка вместе с манишкой, слишком тонкой и оттого успевшей смяться. Старые же его сорочки были до того изношены, что он не рискнул надеть даже самую крепкую.

Брюки, чересчур широкие, плохо обрисовывавшие ногу и собиравшиеся складками на икрах, имели тот потрепанный вид, какой сразу приобретает случайная, сшитая не по фигуре вещь. Только фрак сидел недурно – он был ему почти впору.

С замиранием сердца, в расстройстве чувств, больше всего на свете боясь показаться смешным, медленно поднимался он вверх по ступенькам, как вдруг прямо перед ним вырос элегантно одетый господин, смотревший на него в упор. Они оказались так близко друг к другу, что Дюруа отпрянул – и замер на месте: это был он сам, его собственное отражение в трюмо, стоявшем на площадке второго этажа и создававшем иллюзию длинного коридора. Он задрожал от

восторга, – в таком выгодном свете неожиданно представился он самому себе.

Дома он пользовался зеркальцем для бритья, в котором нельзя было увидеть себя во весь рост, кое-как удалось ему рассмотреть лишь отдельные детали своего импровизированного туалета, и он преувеличивал его недостатки и приходил в отчаяние при мысли, что он смешон.

Но вот сейчас, нечаянно взглянув в трюмо, он даже не узнал себя, – он принял себя за кого-то другого, за светского человека, одетого, как ему показалось с первого взгляда, шикарно, безукоризненно.

Подвергнув себя подробному осмотру, он нашел, что у него в самом деле вполне приличный вид.

Тогда он принялся, точно актер, разучивающий роль, репетировать перед зеркалом. Он улыбался, протягивал руку, жестикулировал, старался изобразить на своем лице то удивление, то удовольствие, то одобрение и найти такие оттенки улыбки и взгляда, по которым дамы сразу признали бы в нем галантного кавалера и которые убедили бы их, что он очарован и увлечен ими.

Внизу хлопнула дверь. Испугавшись, что его могут застать врасплох и что кто-нибудь из гостей его друга видел, как он кривлялся перед зеркалом, Дюруа стал быстро подниматься по лестнице.

На площадке третьего этажа тоже стояло зеркало, и Дюруа замедлил шаг, чтобы осмотреть себя на ходу. В самом деле, фигура у него стройная. Походка тоже не оставляет желать лучшего. И безграничная вера в себя мгновенно овладела его душой. Разумеется, с такой внешностью, с присущим ему упорством в достижении цели, смелостью и независимым складом ума он своего добьется. Ему хотелось взбежать, перепрыгивая через ступеньки, на верхнюю площадку лестницы. Остановившись перед третьим зеркалом, он привычным движением подкрутил усы, снял шляпу, пригладил волосы и, пробормотав то, что он всегда говорил в таких случаях: «Здорово придумано», – нажал кнопку звонка.

Дверь отворилась почти тотчас же, и при виде лакея в черном фраке и лакированных ботинках, бритого, важного, в высшей степени представительного, Дюруа вновь ощутил смутное, непонятное ему самому беспокойство: быть может, он невольно сравнил свой костюм с костюмом лакея.

Взяв у Дюруа пальто, которое тот, чтобы скрыть пятна, держал перекинув на руку, лакей спросил:

– Как прикажете доложить?

Затем приподнял портьеру, отделявшую переднюю от гостиной, и отчетливо произнес его имя.

Дюруа мгновенно утратил весь свой апломб, он оцепенел, он едва дышал от волнения. Ему предстояло перешагнуть порог нового мира, того мира, о котором он мечтал, который манил его к себе издавна. Наконец он вошел. Посреди большой, ярко освещенной комнаты, изобилием всевозможных растений напоминавшей оранжерею, стояла молодая белокурая женщина.

Он остановился как вкопанный. Кто эта улыбающаяся дама? Но тут он вспомнил, что Форестье женат. И мысль о том, что эта хорошенькая, изящная блондинка, – жена его друга, привела его в полное замешательство.

– Сударыня, я… – пробормотал он.

Она протянула ему руку.

– Я знаю, сударь. Шарль рассказал мне о вашей вчерашней встрече, и я очень рада, что ему пришла счастливая мысль пригласить вас пообедать сегодня с нами.

Он не нашелся, что ей ответить, и покраснел до ушей, он чувствовал, что его осматривают с ног до головы, прощупывают, оценивают, изучают.

Ему хотелось извиниться за свой туалет, как-нибудь объяснить его погрешности, но он ничего не мог придумать и так и не решился затронуть этот щекотливый предмет.

Он опустился в кресло, на которое ему указала хозяйка, и как только под ним прогнулось мягкое и упругое сиденье, как только он сел поглубже, откинулся и ощутил ласковое прикосновение спинки и ручек, бережно заключавших его в свои бархатные объятия, ему показалось, что он вступил в новую, чудесную

жизнь, что он уже завладел чем-то необыкновенно приятным, что он уже представляет собою нечто, что он спасен. И тогда он взглянул на г-жу Форестье, не спускавшую с него глаз.

На ней было бледно-голубое кашемировое платье, четко обрисовывавшее ее тонкую талию и высокую грудь. Голые руки и шея выступали из пены белых кружев, которыми был отделан корсаж и короткие рукава. Волосы, собранные в высокую прическу, чуть вились на затылке, образуя легкое, светлое, пушистое облачко.

Взгляд ее, чем-то напоминавший Дюруа взгляд женщины, встреченной им накануне в Фоли-Бержер, действовал на него ободряюще. У нее были серые глаза, серые с голубоватым оттенком, который придавал им особенное выражение, тонкий нос, полные губы и несколько пухлый подбородок, – неправильное и вместе с тем очаровательное лицо, лукавое и прелестное. Это было одно из тех женских лиц, каждая черта которого полна своеобразного обаяния и представляется значительной, малейшее изменение которого словно и говорит и скрывает что-то.

Выдержав короткую паузу, она спросила:

– Вы давно в Париже?

– Всего несколько месяцев, сударыня, – постепенно овладевая собой, заговорил он. – Я служу на железной дороге, но Форестье меня обнадежил: говорит, что с его помощью мне удастся стать журналистом.

Она улыбнулась, на этот раз более радушной и широкой улыбкой, и, понизив голос, сказала:

– Я знаю.

Снова раздался звонок. Лакей доложил:

– Госпожа де Марель.

Вошла маленькая смуглая женщина, из числа тех, о которых говорят: жгучая брюнетка.

Походка у нее была легкая. Темное, очень простое платье облегало и обрисовывало всю ее фигуру.

Невольно останавливала взгляд красная роза, приколотая к ее черным волосам: она одна оттеняла ее лицо, подчеркивала то, что в нем было оригинального, сообщала ему живость и яркость.

За нею шла девочка в коротком платье. Г-жа Форестье бросилась к ним навстречу:

– Здравствуй, Клотильда.

– Здравствуй, Мадлена.

Они поцеловались. Девочка, с самоуверенностью взрослой, подставила для поцелуя лобик.

– Здравствуйте, кузина, – сказала она.

Поцеловав ее, г-жа Форестье начала знакомить гостей:

– Господин Жорж Дюруа, старый товарищ Шарля. Госпожа де Марель, моя подруга и дальняя родственница.

И, обращаясь к Дюруа, добавила:

– Знаете, у нас тут просто, без церемоний. Вы ничего не имеете против?

Молодой человек поклонился.

Дверь снова отворилась, и вошел какой-то толстяк, весь круглый, приземистый, под руку с красивой и статной дамой выше его ростом и значительно моложе, обращавшей на себя внимание изысканностью манер и горделивой осанкой. Это

были г-н Вальтер, депутат, финансист, богач и делец, еврей-южанин, издатель «Французской жизни», и его жена, урожденная Базиль-Равало, дочь банкира.

Потом один за другим появились Жак Риваль, одетый весьма элегантно, и Норбер де Варен, – у этого ворот фрака блестел, натертый длинными, до плеч, волосами, с которых сыпалась перхоть, а небрежно завязанный галстук был далеко не первой свежести. С кокетливостью былого красавца он подошел к г-же Форестье и поцеловал ей руку. Когда он нагнулся, его длинные космы струйками разбежались по ее голой руке.

Наконец вошел сам Форестье и извинился за опоздание. Его задержали в редакции в связи с выступлением Мореля. Морель, депутат-радикал, только что сделал запрос министерству по поводу требования кредитов на колонизацию Алжира.

– Кушать подано, – объявил слуга.

Все перешли в столовую.

Дюруа посадили между г-жой де Марель и ее дочкой. Он опять почувствовал себя неловко: он не умел обращаться с вилкой, ложкой, бокалами и боялся нарушить этикет. Перед ним поставили четыре бокала, причем один – голубоватого цвета. Интересно знать, что из него пьют?

За супом молчали, потом Норбер де Варен спросил:

– Вы читали о процессе Готье? Занятная история!

И тут все принялись обсуждать этот случай, где к адюльтеру примешался шантаж. Здесь говорили о нем не так, как в семейном кругу говорят о происшествиях, известных по газетам, но как врачи о болезни, как зеленщики об овощах. Никто не удивлялся, не выражал возмущения, – все с профессиональным любопытством и полным равнодушием к самому преступлению отыскивали его глубокие, тайные причины. Пытались выяснить мотивы поступков, определить мозговые явления, вызвавшие драму, а сама эта драма рассматривалась как прямое следствие особого душевного состояния, которому можно найти научное объяснение. Этим исследованием, этими поисками увлеклись и дамы. Точно так же, с точки зрения вестовщиков,

торгующих человеческой комедией построчно, были изучены, истолкованы, осмотрены хозяйским глазом со всех сторон, оценены по их действительной стоимости и другие текущие события, подобно тому как лавочники переворачивают, осматривают и взвешивают свой товар, прежде чем предложить его покупателям.

Потом зашла речь об одной дуэли, и тут Жак Риваль овладел всеобщим вниманием. Это была его область, никто другой не смел касаться этого предмета.

Дюруа не решался вставить слово. Прельщенный округлыми формами своей соседки, он время от времени поглядывал на нее. С кончика ее уха, точно капля воды, скользящая по коже, на золотой нитке свисал бриллиант. Каждое ее замечание вызывало у всех улыбку. Оно заключало в себе забавную, милую, всякий раз неожиданную шутку, шутку бедовой девчонки, ничего не принимающей близко к сердцу, судящей обо всем с поверхностным и добродушным скептицизмом.

Дюруа старался придумать для нее комплимент, но так и не придумал и занялся дочкой: наливал ей вина, передавал кушанья, словом, ухаживал за ней. Девочка, более строгая, чем мать, благодарила его небрежным кивком головы, важным тоном произносила: «Вы очень любезны, сударь», – и снова с комически серьезным видом принималась слушать, о чем говорят взрослые.

Обед удался на славу, и все выражали свое восхищение. Вальтер ел за десятерых и почти все время молчал; когда подносили новое блюдо, он смотрел на него из-под очков косым, прицеливающимся взглядом. Не отставал от Вальтера и Норбер де Варен, по временам ронявший капли соуса на манишку.

Форестье, улыбающийся и озабоченный, за всем наблюдал и многозначительно переглядывался с женой, словно это был его расторопный помощник, словно они сообща выполняли трудную, но успешно продвигающуюся работу.

Лица раскраснелись, голоса становились громче. Слуга то и дело шептал на ухо обедающим:

– Кортон? Шато-лароз?

Дюруа пришелся по вкусу кортон, и он всякий раз подставлял свой бокал. Радостное, необыкновенно приятное возбуждение, горячей волной приливавшее от желудка к голове и растекавшееся по жилам, мало-помалу захватило его целиком. Для него наступило состояние полного блаженства, блаженства, поглощавшего все его мысли и чувства, блаженства души и тела.

Ему хотелось говорить, обратить на себя внимание, хотелось, чтобы его слушали, чтобы к нему относились так же, как к любому из этих людей, каждое слово которых подхватывалось здесь на лету.

Между тем общий разговор, который не прекращался ни на минуту, нанизывал одно суждение на другое и по самому ничтожному поводу перескакивал с предмета на предмет, наконец, перебрав все события дня и попутно коснувшись тысячи других вопросов, вернулся к широковещательному выступлению Мореля относительно колонизации Алжира.

Вальтер, отличавшийся игривостью ума и скептическим взглядом на вещи, в перерыве между двумя блюдами отпустил на этот счет несколько острых словечек. Форестье изложил содержание своей статьи, написанной для завтрашнего номера. Жак Риваль указал на необходимость учредить в колониях военную власть и предоставить каждому офицеру, прослужившему в колониальных войсках тридцать лет, земельный участок в Алжире.

– Таким путем вы создадите деятельное общество, – утверждал он, – люди постепенно узнают и полюбят эту страну, выучатся говорить на ее языке и станут разбираться во всех запутанных местных делах, которые обычно ставят в тупик новичков.

Норбер де Варен прервал его:

– Да… они будут знать все, кроме земледелия. Они будут говорить по-арабски, но так и не научатся сажать свеклу и сеять хлеб. Они будут весьма сильны в искусстве фехтования и весьма слабы по части удобрения полей. Нет, надо широко открыть двери в эту новую страну всем желающим. Для людей с умом там всегда найдется место, остальные погибнут. Таков закон нашего общества.

Наступило молчание. Все улыбались.

– Чего там недостает, так это хорошей земли, – с удивлением прислушиваясь к звуку собственного голоса, будто слышал его впервые, вдруг заговорил Дюруа. – Плодородные участки стоят в Алжире столько же, сколько во Франции, и раскупают их парижские богачи, которые находят выгодным вкладывать в них капитал. Настоящих же колонистов, то есть бедняков, которых туда гонит нужда, оттесняют в пустыню, где нет воды и где ничего не растет.

Теперь все взоры были устремлены на него. Он чувствовал, что краснеет.

– Вы знаете Алжир? – спросил Вальтер.

– Да, – ответил он. – Я провел там два с лишним года и побывал во всех трех провинциях.

Норбер де Варен, сразу позабыв о Мореле, стал расспрашивать Дюруа о некоторых обычаях этой страны, известных ему по рассказам одного офицера. В частности, его интересовал Мзаб – своеобразная маленькая арабская республика, возникшая посреди Сахары, в самой сухой части этого знойного края.

Дюруа дважды побывал в Мзабе, и теперь он охотно принялся описывать нравы этой удивительной местности, где капля воды ценится на вес золота, где каждый житель обязан принимать участие в общественных работах и где торговля ведется честнее, чем у цивилизованных народов.

Вино и желание понравиться придали ему смелости, и он говорил с каким-то хвастливым увлечением; рассказывал полковые анекдоты, вспоминал случаи, происходившие на войне, воспроизводил отдельные черты арабского быта. Он употребил даже несколько красочных выражений для того, чтобы слушатели яснее представили себе эту желтую, голую и бесконечно унылую землю, опаленную всепожирающим пламенем солнца.

Дамы не сводили с него глаз. Г-жа Вальтер проговорила, растягивая, по своему обыкновению, слова:

– Из ваших воспоминаний мог бы выйти ряд прелестных очерков.

Старик Вальтер тотчас же взглянул на молодого человека поверх очков, как это он делал всякий раз, когда хотел получше рассмотреть чье-нибудь лицо. Кушанья он разглядывал из-под очков.

Форестье воспользовался моментом:

– Дорогой патрон, я уже говорил вам сегодня о господине Дюруа и просил назначить его моим помощником по добыванию политической информации. С тех пор как от нас ушел Марамбо, у меня нет никого, кто собирал бы срочные и секретные сведения, а от этого страдает газета.

Вальтер сделался серьезным и, приподняв очки, посмотрел Дюруа прямо в глаза.

– Ум у господина Дюруа, бесспорно, оригинальный, – сказал он. – Если ему будет угодно завтра в три часа побеседовать со мной, то мы это устроим.

Немного помолчав, он обратился непосредственно к Дюруа:

– А пока что дайте нам два-три увлекательных очерка об Алжире. Поделитесь своими воспоминаниями и свяжите их с вопросом о колонизации, как это вы сделали сейчас. Они появятся вовремя, как раз вовремя, и я уверен, что читатели будут очень довольны. Но торопитесь! Первая статья должна быть у меня завтра, в крайнем случае – послезавтра: пока в палате еще не кончились прения, нам необходимо привлечь к ним внимание публики.

– А вот вам прелестное заглавие: «Воспоминания африканского стрелка», – добавила г-жа Вальтер с той очаровательной важностью, которая придавала оттенок снисходительности всему, что она говорила, – не правда ли, господин Норбер?

Старый поэт, поздно добившийся известности, ненавидел и боялся начинающих. Он сухо ответил:

– Да, заглавие великолепное, при условии, однако, что и дальнейшее будет в том же стиле, а это самое трудное. Стиль – это все равно что верный тон в музыке.

Госпожа Форестье смотрела на Дюруа ласковым, покровительственным, понимающим взглядом, как бы говорившим: «Такие, как ты, своего добьются». Г-жа де Марель несколько раз поворачивалась в его сторону, и бриллиант в ее ухе беспрестанно дрожал, словно прозрачная капля воды, которая вот-вот сорвется и упадет.

Девочка сидела спокойно и чинно, склонив голову над тарелкой.

Лакей тем временем снова обошел вокруг стола и налил в голубые бокалы иоганнисберг, после чего Форестье, поклонившись Вальтеру, предложил тост:

– За процветание «Французской жизни»!

Все кланялись патрону, он улыбался, а Дюруа, упоенный успехом, одним глотком осушил свой бокал. Ему казалось, что он мог бы выпить целую бочку, съесть целого быка, задушить льва. Он ощущал в себе сверхъестественную мощь и непреклонную решимость, он полон был самых радужных надежд. Он стал своим человеком в этом обществе, он завоевал себе положение, занял определенное место. Взгляд его с небывалой уверенностью останавливался на лицах, и, наконец, он осмелился обратиться к своей соседке:

– Какие у вас красивые серьги, сударыня, – я таких никогда не видел!

Она обернулась к нему с улыбкой:

– Это мне самой пришло в голову – подвесить бриллианты вот так, просто на золотой нитке. Можно подумать, что это росинки, правда?

Смущенный собственной дерзостью, боясь сказать глупость, он пробормотал:

– Прелестные серьги, а ваше ушко способно только украсить их.

Она поблагодарила его взглядом – одним из тех ясных женских взглядов, которые проникают в самое сердце.

Дюруа повернул голову и снова встретился глазами с г-жой Форестье: она смотрела на него все так же приветливо, но, как ему показалось, с оттенком

лукавого задора и поощрения.

Мужчины говорили теперь все вместе, размахивая руками и часто повышая голос: обсуждался грандиозный проект подземной железной дороги. Тема была исчерпана лишь к концу десерта, – каждому нашлось что сказать о медленности способов сообщения в Париже, о неудобствах конок, о непорядках в омнибусах и грубости извозчиков.

Потом все перешли в гостиную пить кофе. Дюруа, шутки ради, предложил руку девочке. Она величественно поблагодарила его и, привстав на цыпочки, просунула руку под локоть своего кавалера.

Гостиная снова напомнила ему оранжерею. Во всех углах комнаты высокие пальмы, изящно раскинув листья, тянулись до потолка и взметали каскадами свои широкие вершины.

По бокам камина круглые, как колонны, стволы каучуковых деревьев громоздили один на другой продолговатые темно-зеленые листья, а на фортепьяно стояли два каких-то неведомых кустика – розовый и белый; круглые, сплошь покрытые цветами, они казались искусственными, неправдоподобными, слишком красивыми для живых цветов.

Свежий воздух гостиной был напоен легким и нежным благоуханием, несказанным и неуловимым.

Дюруа почти совсем оправился от смущения, и теперь он мог внимательно осмотреть комнату. Комната была невелика: кроме растений, ничто не поражало в ней взгляда, в ней не было ничего особенно яркого, но в ней вы чувствовали себя как дома, все в ней располагало к отдыху, дышало покоем; она обволакивала вас своим уютом, она безотчетно нравилась, она окутывала тело чем-то мягким, как ласка.

Стены были обтянуты старинной бледно-лиловой материей, усеянной желтыми шелковыми цветочками величиною с муху. На дверях висели портьеры из серо-голубого солдатского сукна, на котором красным шелком были вышиты гвоздики. Расставленная как попало мебель разной формы и величины – шезлонги, огромные и совсем крошечные кресла, табуреты, пуфы – частью была обита шелковой материей в стиле Людовика XVI, частью – прекрасным

утрехтским бархатом с гранатовыми разводами по желтоватому полю.

– Господин Дюруа, хотите кофе?

Все с той же дружелюбной улыбкой, не сходившей с ее уст, г-жа Форестье протянула ему чашку.

– Да, сударыня, благодарю вас.

Дюруа взял чашку, и, пока он, с опаской наклонившись над сахарницей, которую подала ему девочка, доставал серебряными щипчиками кусок сахара, молодая женщина успела шепнуть ему:

– Поухаживайте за госпожой Вальтер.

И, прежде чем он успел ей что-нибудь ответить, удалилась.

Он поспешил выпить кофе, так как боялся пролить его на ковер, и, облегченно вздохнув, стал искать случая подойти к жене своего нового начальника и завязать с ней разговор.

Вдруг он заметил, что г-жа Вальтер, сидевшая далеко от столика, держит в руке пустую чашку и, видимо, не знает, куда ее поставить. Дюруа подскочил к ней:

– Разрешите, сударыня.

– Благодарю вас.

Он отнес чашку и сейчас же вернулся.

– Если бы вы знали, сударыня, сколько счастливых мгновений доставила мне «Французская жизнь», когда я был там, в пустыне! В самом деле, это единственная газета, которую можно читать за пределами Франции, именно потому, что она самая занимательная, самая остроумная и наиболее разнообразная из газет. В ней пишут обо всем.

Госпожа Вальтер улыбнулась холодной в своей учтивости улыбкой.

– Моему мужу стоило немало трудов создать тип газеты, отвечающей современным требованиям, – заметила она с достоинством.

И они принялись беседовать. Дюруа умел поддерживать пошлый и непринужденный разговор; голос у него был приятный, взгляд в высшей степени обаятельный, а в усах таилось что-то неодолимо влекущее. Они вились над верхней губой, красивые, пушистые, пышные, золотистые с рыжеватым отливом, который становился чуть светлее на топорщившихся концах.

Поговорили о Париже и его окрестностях, о берегах Сены, о летних развлечениях, о курортах – словом, о таких несложных вещах, о которых без малейшего напряжения можно болтать до бесконечности.

Когда же к ним подошел Норбер де Варен с рюмкой ликера в руке, Дюруа из скромности удалился.

Госпожа де Марель, окончив беседу с г-жой Форестье, подозвала его.

– Итак, вы намерены попытать счастья в журналистике? – неожиданно спросила она.

Он ответил что-то неопределенное насчет своих намерений, а затем начал с ней тот же разговор, что и с г-жой Вальтер. Но теперь он лучше владел предметом и говорил увереннее, выдавая за свое то, что слышал недавно от других. При этом он все время смотрел ей в глаза, как бы желая придать глубокий смысл каждому своему слову.

Госпожа де Марель рассказала ему, в свою очередь, несколько анекдотов с той неподдельной живостью, какая свойственна женщине, знающей, что она остроумна, и желающей быть занимательной. Становясь все более развязной, она дотрагивалась до его рукава и, болтая о пустяках, внезапно понижала голос, отчего их беседа приобретала интимный характер. Близость молодой женщины, столь явно расположенной к нему, волновала его. Томимый желанием сию же минуту доказать ей свою преданность, от кого-то защитить ее, обнаружить перед ней свои лучшие качества, Дюруа каждый раз медлил с ответом, и эти заминки свидетельствовали о том, что мысли его заняты чем-то другим.

Вдруг, без всякого повода, г-жа де Марель позвала: «Лорина!» – и, когда девочка подошла, сказала ей:

– Сядь сюда, детка, ты простудишься у окна.

Дюруа безумно захотелось поцеловать девочку, словно что-то от этого поцелуя могло достаться на долю матери.

– Можно вас поцеловать, мадемуазель? – изысканно любезным и отечески ласковым тоном спросил он.

Девочка посмотрела на него с изумлением. Г-жа де Марель сказала, смеясь:

– Отвечай: «Сегодня я вам разрешаю, сударь, но больше чтоб этого не было».

Дюруа сел и, взяв девочку на руки, прикоснулся губами к ее волнистым и мягким волосам.

Мать была поражена.

– Смотрите, она не убежала! Поразительно! Обычно она позволяет себя целовать только женщинам. Вы неотразимы, господин Дюруа.

Он покраснел и молча принялся покачивать девочку на одном колене.

Госпожа Форестье подошла и ахнула от удивления:

– Что я вижу? Лорину приручили! Вот чудеса!

Жак Риваль, с сигарой во рту, направлялся к ним, и Дюруа, боясь одним каким-нибудь словом, сказанным невпопад, испортить все дело и сразу лишиться всего, что им было уже завоевано, встал и начал прощаться.

Он кланялся, осторожно пожимал женские ручки и энергично встряхивал руки мужчин. При этом он заметил, что сухая горячая рука Жака Риваля дружески ответила на его пожатие, что влажная и холодная рука Норбера де Варена

проскользнула у него между пальцев, что у Вальтера рука холодная, вялая, безжизненная и невыразительная, а у Форестье – пухлая и теплая. Его приятель шепнул ему:

– Завтра в три часа, не забудь.

– Нет, нет, приду непременно.

Дюруа до того бурно переживал свою радость, что, когда он очутился на лестнице, ему захотелось сбежать с нее, и, перепрыгивая через две ступеньки, он пустился вниз, но вдруг на площадке третьего этажа увидел в большом зеркале господина, вприпрыжку бежавшего к нему навстречу, и, устыдившись, остановился, словно его поймали на месте преступления.

Дюруа посмотрел на себя долгим взглядом, затем, придя в восторг от того, что он такой красавец, любезно улыбнулся своему отражению и отвесил ему на прощанье, точно некоей важной особе, почтительный низкий поклон.

III

На улице Жорж Дюруа погрузился в раздумье: он не знал, на что решиться. Ему хотелось бродить без цели по городу, мечтать, строить планы на будущее, дышать мягким ночным воздухом, но мысль о статьях для Вальтера неотступно преследовала его, и в конце концов он счел за благо вернуться домой и немедленно сесть за работу.

Скорым шагом двинулся он по кольцу внешних бульваров, а затем свернул на улицу Бурсо, на которой он жил. Семиэтажный дом, где он снимал комнату, был населен двумя десятками семей рабочих и мещан. Поднимаясь по лестнице и освещая восковыми спичками грязные ступеньки, усеянные очистками, окурками, клочками бумаги, он вместе с болезненным отвращением испытывал острое желание вырваться отсюда и поселиться там, где живут богатые люди, – в чистых, устланных коврами комнатах. Здесь же все было пропитано тяжелым запахом остатков пищи, отхожих мест и человеческого жилья, застарелым запахом пыли и плесени, запахом, который никакие сквозняки не могли

выветрить.

Из окна его комнаты, находившейся на шестом этаже, открывался вид на огромную траншею Западной железной дороги, зиявшую, словно глубокая пропасть, там, где кончался туннель, неподалеку от Батиньольского вокзала. Дюруа распахнул окно и облокотился на ржавый железный подоконник.

Три неподвижных красных сигнальных огня, напоминавших широко раскрытые глаза неведомого зверя, горели на дне этой темной ямы, за ними виднелись другие, а там еще и еще. Протяжные и короткие гудки ежеминутно проносились в ночи, то близкие, то далекие, едва уловимые, долетавшие со стороны Аньера. В их переливах было что-то похожее на перекличку живых голосов. Один из них приближался, его жалобный вопль нарастал с каждым мгновением, и вскоре показался большой желтый фонарь, с оглушительным грохотом мчавшийся вперед. Дюруа видел, как длинная цепь вагонов исчезла в пасти туннеля.

– А ну, за работу! – сказал он себе, поставил лампу на стол и хотел было сесть писать, как вдруг обнаружил, что у него есть только почтовая бумага.

Что ж, придется развернуть лист в ширину и писать на почтовой. Он обмакнул перо и старательно, красивым почерком, вывел заглавие:

ВОСПОМИНАНИЯ АФРИКАНСКОГО СТРЕЛКА

Затем принялся обдумывать первую фразу.

Он сидел, подперев щеку ладонью и пристально глядя на лежавший перед ним чистый лист бумаги.

О чем писать? Он ничего не мог припомнить из того, что рассказывал за обедом, ни одного анекдота, ни одного факта, ничего. Вдруг ему пришла мысль: «Надо начать с отъезда». И он написал: «Это было в 1874 году, в середине мая, в то время, когда обессиленная Франция отдыхала от потрясений роковой годины…»

Тут Дюруа остановился: он не знал, как связать это с дальнейшим – с отплытием, путешествием, первыми впечатлениями.

Минут десять спустя он решил отложить вступительную часть на завтра, а пока приняться за описание Алжира.

«Алжир – город весь белый…» – написал он, но дальше этого дело не пошло. Память вновь нарисовала перед ним красивый чистенький городок, ручейками домов с плоскими кровлями сбегающий по склону горы к морю, но он не находил слов, чтобы передать виденное и пережитое.

После долгих усилий он прибавил: «Часть его населения составляют арабы…» Потом швырнул перо и встал из-за стола.

На узкой железной кровати, на которой от тяжести его тела образовалась впадина, валялось его будничное платье, поношенное, измятое, скомканное, всем своим отвратительным видом напоминавшее отрепья из морга. А шелковый цилиндр, его единственный цилиндр, лежавший вверх дном на соломенном кресле, точно ждал, чтобы ему подали милостыню.

На обоях, серых с голубыми букетами, пятен было столько же, сколько цветов, – застарелых, подозрительных пятен, о которых никто не мог бы сказать, что это такое: то ли раздавленные клопы, то ли капли масла; не то следы пальцев, жирных от помады, не то брызги мыльной пены из умывального таза. Все отзывалось унизительной нищетой, нищетой парижских меблированных комнат. И в душе у Дюруа поднялась злоба на свою бедность. Он почувствовал необходимость как можно скорее выбраться отсюда, завтра же покончить с этим жалким существованием.

Внезапно к нему вернулось рабочее настроение, и он, сев за стол, опять начал подыскивать такие слова, которые помогли бы ему воссоздать пленительное своеобразие Алжира, этого преддверия Африки с ее таинственными дебрями, Африки кочевых арабов и безвестных негритянских племен, Африки неисследованной и манящей, откуда в наши городские сады изредка попадают неправдоподобные, будто явившиеся из мира сказок животные: невиданные куры, именуемые страусами; наделенные божественной грацией козы, именуемые газелями; поражающие своей уродливостью жирафы, величавые верблюды, чудовищные гиппопотамы, безобразные носороги и, наконец, страшные братья человека – гориллы.

Мысли, рождавшиеся у Дюруа, не отличались ясностью, – он сумел бы высказать их, пожалуй, но ему не удавалось выразить их на бумаге. В висках у него стучало, руки были влажны от пота, и, истерзанный этой лихорадкой бессилья, он снова встал из-за стола.

Тут ему попался на глаза счет от прачки, сегодня вечером принесенный швейцаром, и безысходная тоска охватила его. Радость исчезла вмиг – вместе с верой в себя и надеждой на будущее. Кончено, все кончено, он ничего не умеет делать, из него ничего не выйдет. Он казался себе человеком ничтожным, бездарным, обреченным, ненужным.

Он опять подошел к окну – как раз в тот момент, когда из туннеля с диким грохотом неожиданно вырвался поезд. Путь его лежал – через поля и равнины – к морю. И, провожая его глазами, Дюруа вспомнил своих родителей.

Да, поезд пройдет мимо них, всего в нескольких лье от их дома. Дюруа живо представил себе этот маленький домик на вершине холма, возвышающегося над Руаном и над широкой долиной Сены, при въезде в деревню Кантеле.

Родители Дюруа держали маленький кабачок, харчевню под вывеской «Красивый вид», куда жители руанского предместья ходили по воскресеньям завтракать. В расчете на то, что их сын со временем станет важным господином, они отдали его в коллеж. Окончив курс, но не сдав экзамена на бакалавра, Жорж Дюруа поступил на военную службу: он заранее метил в офицеры, полковники, генералы. Но военная служба опостылела ему задолго до окончания пятилетнего срока, и он стал подумывать о карьере в Париже.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/gi-mopassan/milyy-drug-kupit

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить